

Жизнь Тынянова была подвигом. Подвигом во имя литературы. Он творил вопреки прогрессирующей крайне тяжелой болезни. И даже неуклонно приближающаяся мучительная смерть не могла остановить его. Оригинальный исследователь литературы. Большой писатель. Мужественный и самоотверженный человек.



ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

Тынянов прожил мученическую жизнь. Более или менее безоблачны были только его детство и отрочество, молодость была в полном смысле счастливой, но совпала с голодными, нищими, катастрофическими временами, а дальше были одиночество, фактический запрет на профессию, перемена занятий, предательство друзей, любовная драма и жестокая болезнь — рассеянный склероз, — отнявшая у него силы и трудоспособность уже к середине тридцатых. Мы мало знаем обо всем этом, поскольку он никогда не жаловался.

Все главные его сочинения написаны между двумя мировыми войнами. Он умер 20 декабря 1943 года, после двух адских лет, когда его, уже неподвижного, успели вывезти из Ленинграда в эвакуацию, а потом вернули умирать в Москву. Страдания его непредставимы: гибло не только тело, не только мощный, феноменально трудоспособный мозг, не только воля, никогда ему не изменявшая, — гибло все, что было ему дорого: его город (Тынянов так и не дожил до снятия блокады), его дело, его поколение. Он не знал, выживет ли сама страна, язык, культура, останутся ли имена, — и самым горьким в его положении была абсолютная беспомощность, зависимость от людей.

Для человека, всегда жившего умом и волей, их утрата хуже смерти. И в последние два своих года, во время просветов, когда возвращались сознание и память, он диктовал публицистику, сочинял рассказы, без документов и архивов дописывал третью, «южную» часть главного своего труда — романа «Пушкин». И опять никто не слышал его жалоб. В этой внешне бессобытийной, аскетической жизни была, не побоюсь сильного слова, святость. И единственной компенсацией за все, что он вынес, было почти безоговорочное всеобщее преклонение. Тынянова любили все. Критиковали — и любили, предавали — и любили, и знали, что он при всех обстоятельствах будет безупречен. Должен быть в смутные эпохи такой человек — абсолютный нравственный стержень, ни единого двусмысленного поступка.

Тынянов был одарен универсально и щедро: с детства сочинял стихи и прозу, переводил, рисовал, виртуозно изображал и передразнивал знакомых, при этом был блестящим собеседником и надежным другом. В 1915 году он поступил в Петербургский — уже, впрочем, Петроградский — университет и стал участником знаменитого пушкинского семинария Венгерова. <...>

Тынянов перенес на прозу открытые им принципы поэтического языка. К тыняновскому стилю — особенно к огромным стихотворениям в прозе «Смерть Вазир-Мухтара» и «Восковая персона» — приложимо все, что написано в «Проблеме стихотворного языка» о поэтическом слове, о ритме, о рифме (здесь точнее бы говорить о лейтмотиве). Кому-то этот стиль казался вычурным, в действительности он аскетически прост. «Кюхля» написан еще не так. «Кюхля» — самый популярный в итоге роман Тынянова, потому что самый простой, — писался вместо брошюры для подростков, где повествовалось бы о забытом поэте-декабристе. Тынянов написал роман, впятеро превышавший изначальный договорный объем. Чуковский, натолкнувший его на этот заработок, сумел пробить издание и доказать, что появился биографический роман нового типа. В «Кюхле» есть еще остатки прежнего стиля русских биографий — описательность, психология, быт. Этого немного — преобладает тыняновская динамика, умение брать быка за рога с первой строки, но «Кюхля» — еще биография, а «Вазир-Мухтар» — уже поэма о собственной жизни и смерти, о собственной утраченной походке.

Это же стихи в чистом виде, материал для «Проблемы стихотворного языка»: «Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами шек, готовые лопнуть жилами. Жилы были

жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга».

«Смерть Вазир-Мухтара» — не только стилистическое чудо, но и феноменальный по трезвости, ясности, сухости автопортрет. Тынянов описал себя в облике Грибоедова, едкого, желчного, мучительно бесплодного. Хотя внешне походил на Пушкина — невысокий, сухошавый, кудрявый, подвижный, гримасничающий, ядовитый, феноменально памятный. Но Пушкин — чудо гармонии, дар, осуществившийся вопреки всему. Грибоедов — чудо единственного шедевра; самый язвительный и точный ум эпохи, сам себе запретивший развиться — или так и не смогший расцвести в бессолнечном и безвоздушном времени.

«В тридцать два года человека в ту или другую сторону мутит». Тынянову было 32, когда он писал это, но это не была середина жизни. Ему оставалось 17 лет, и не лучших лет. Вместе с ним исчезал либо мимикрировал человеческий тип — тип человека блестящего, все понимающего и потому больше не нужного. Мельчание всего вокруг, исчезновение контекста, вырождение — свое и чужое — и творческая немота: вот тема.

«Восковая персона» — о том, как империя утрачивает свой смысл. Самая известная малая проза Тынянова, «Подпоручик Киж», — о фиктивности человека. Половину этой истории он вычитал в анекдотах, другую — выдумал. Один человек — подпоручик Киж — образовался из описки: «подпоручики же...». Он стал существовать, был награждаем, повышаем в звании, женился и умер. Лучших людей теряю, вздохнул император Павел. Это и впрямь так, ибо лучшими людьми для императора Павла были люди несуществующие, идеальные, лишенные пороков, люди-фиги, плоско умешавшиеся между страниц рапорта. Маяковский был лучшим поэтом нашей, советской эпохи, потому что был мертв и уже не мог написать лишнего. Киж был лучшим подпоручиком, потом поручиком, потом генералом. Его сослали в Сибирь и вернули. Когда он заболел, Павел посылал о нем справляться. Поручик Синюхаев, напротив, был реальное лицо, но от него не осталось ничего, поскольку он был ошибочно объявлен мертвым, — и он умер, ибо ничего другого ему не оставалось. Вельможа в России тот, с кем я разговариваю, и до тех пор, пока разговариваю, говаривал Павел, и говаривал справедливо. Любая ложь становится правдой, став буквой; так и смерть Павла наступила от апоплексического удара, даром что удар наносился табакеркой. Истина в России — то, что я

говоря; писатель — тот, кого я читаю; живой — тот, кто внесен в списки, реестры, перечни.

Говорят, что поздняя проза Тынянова стала вовсе уж фрагментарна и осыпчата под действием болезни. Это не так: она всегда была вынужденно лаконична и конспективна. Третья часть «Пушкина», написанная в отчаянии, не уступает двум первым.

«Молчаливая, суровая, недобрая, неживая очередь людей, которым изменяли то нога, то рука, то терпение, каждый день с утра толпилась у ям, наполненных непростой водой, и не просто ждала. Притворно не веря ничему, они всему верили. Самое неверное дело была молодость, сила. Вдруг вернется? Это было бы проще всего. Нет надежды? Никакой? Все это ясно. И никто не верил. Как бы не так. Молодость, сила? Все может вернуться, все бывает. И все оказывалось тем, что уже было. Спокойствие! Ничего другого».

Это не о Пушкине, который лечится на водах, — точнее, не только о нем. Он сам сидел в этих очередях с первого года, когда почувствовал болезнь, — среди людей, которым изменяла то рука, то нога, то память. Вокруг память, ум и воля точно так же изменяли стране, а может, и не ей одной.

Но он диктовал, пока мог, и смеялся, пока мог. И людям, сидевшим у его постели в эвакуации или навешавшим его в московской больнице, становилось ясно, что есть вещи посильнее войны и общего безумия, сильнее личной немоши.

Это чувство передается его читателю и сейчас, хотя транслируется средствами нарочито аскетичными. Тынянов придумал собственную литературу, вспоминая уроки собственной науки: других таких примеров в прозе, кажется, нет. Даже Шкловский, при всем своем таланте, личной литературы не создал — потому, вероятно, что темперамент его всегда слишком расходился с тем, как ему приходилось писать и действовать. Может быть, Гинзбург — хотя ее проза остается наукой, эмоциональность ее пригашена (иногда угадываются бездны отчаяния и одиночества, и тогда — высочайшая проза). Тынянов научил русскую прозу писать стихами, заменять общую историю личной, из документа извлекать мелодику. Но более всего он научил ее дышать без воздуха, держаться без опоры, все говорить в паузе — может, слово, пораженное в обычных своих правах, только и может спастись в тесном стиховом ряду.

Ко всему этому — чтобы не заканчивать на пафосной или трагической ноте, — он был человек веселый. Чуковский вспоминает, что от депрессии вылечивался только в разговорах с ним: вылечивала наблюдательность, острое слово — и доброжелательность.

Каверин однажды попросил у него бритву. Ему хотелось почувствовать себя взрослым. Тынянов подробно разъяснил ему всю механику — как править бритву на ремне, как точить, как взбалтывать пену, — и наконец спросил:

— Что, собственно, ты собираешься брить?

Каверин продемонстрировал цыплячий пух на подбородке. Тынянов расхохотался и на мотив «Скучно, мне хочется забыться, забыть весь мир, забыть тебя!» — весь день напевал:

Скучно, мне хочется побриться!

Побрить весь мир, побрить тебя!

Каверин это всегда вспоминал, когда тоска нападала, и поневоле улыбался. Проверьте, действует.

Дмитрий Быков // "Дилетант", № 5, 2013